



ЗАЧИН

Было то в самом начале девяностых годов прошлого века. Прошлого — это двадцатого, когда и война Мировая почти полвека как отгремела, и Юрий Гагарин в космос уже слетал, и страна красная только что распалась с треском.

Папка мой, Николай Михайлович Ревякин, в славном городе Донецке — городе шахтёрском да благословенном — приходил домой с работы, ног и рук не чуя от лютой усталости. Глаза у папки были лазоревые, с поволокой, словно чёрным мягким герленовским карандашиком подведённые, ресницы густящие, щёки впалые, подбородок волевой, квадратный, с ямочкой милейшей. В кино с такой внешностью сниматься, но никак не в шахту за нашими камнями-черноцветами лазать. А папка лазал, и друзья его лазали. Такие же красивущие, как и мой папка, добрые его друзья по забюю.

Мне-то он папка, папа, папочка, а им всю жизнь Михалычем был. Михалыч то, Михалыч сё, подсоби, выручи, допоможи, одолжи до получки, айда рыбачить и далее по жизненному списку будничных дел. Приходили папкины друзья к нам по праздникам, главный из которых, конечно, тот, что в конце лета. Садились на кухне за накрытый белою скатёркой стол, ели, пили, пировали. На столе в последнее воскресенье августа такие яства стояли, каких мы не то что в обычные дни не пробовали, а и в Новый год не видели. Говорю же — главный праздник, и праздновали его соответствующим образом, и тосты у них были особенными. Слово у них ещё такое имелось — процветание. Так и говорили: «Процветаем мы, процветали и будем впредь». Я, маленькая, думала

всё: чего это они про цветы да про цветы говорят, а цветов никаких на столе нет. Не разумела слово, по-своему понимала.

Двери на кухню процветающие мужи закрывали плотно, только двери те со стеклом были, от мух двери, но никак не от любопытных подрастающих девок. Если поднапрячься, можно было многое услышать из того, что детской кубышечке переваривать не положено.

Говорили о Шубине. Кто такой? Дух горный. Другой бог. Волосатый, злой, но иногда и добрый. Живёт в шахте, наверх ни ногой (ноги у него с копытами, во дела!), света солнечного боится, а по подземельям гуляет вольно, видит во тьме на километры вперёд и вниз, и сквозь пласты тоже. Всесильный! Покровительствует шахтёрам и их семьям, а до других ему дела нет, не в его ведении все остальные, над ними власти никакой не имеет да и не хочет иметь.

Друзья уходили ближе к полуночи, иногда даже за полночь, а мы с папкой принимались со стола убирать, чтобы на утро гармбдер¹ не оставлять. Папка посуду мыл, я её полотенцем вафельным вытирала. И пока мыли-вытирали, я всё у родителя выпытать пыталась про Шубина. Кто же он такой? Как выглядит точно? И видел ли его папка самолично или только слышал о нём.

Папка мой был прагматиком, что называется, до мозга костей, ни в какие абстракции не верил, но к Шубину относился крайне серьёзно. Не как к сказочке для любимой младшенькой дочери, а как к великой шахтёрской тайне, которую надо хранить глѣбоко внутри и никому не рассказывать.

— Ну, мне-то можешь открыться, — канючила, — папочка, я никому не расскажу, обещаю.

— Клянёшься?

— Чем хошь! Расскажи только...

И рассказывал в лёгком праздничном хмелю. Наутро же, как просыпались мы и садились завтракать, говорил: «Что вчера было, то забудь. Всё забудь, до последнего словечка». А я и забывала, как тут не забыть.

Во-первых, школа общеобразовательная, что клинок дамоклов али страда, в том смысле, что страданий зубрильных полная до краёв, уроки денно и ночью учить приходилось. Во-вторых, осень хрупкая донецкая, сухая райская осень, половину из которой гуляла я по бульвару Пушкина, в листья с головою ныряла — то брассом, то кролем. Пловчиха. А ещё музыкой заниматься надо было, собаку выгуливать. Всё забывала. До словечка. Как папке и обещала. Умница доченька.

Стоял уже ноябрь. Слякотно было — что внутри, что снаружи. Под ногами хлюпало, в носу аналогично. Прогноз погоды — мряка², прогноз мятущейся души — такой же.

Брели мы с карликовой пуделихой Динкой по двору, пуделиха моя со всеми собаками облаяться успевала за недолгую прогулку. Вот же характер! Красивая собацога, только нестриженная давно, лохматая, грязная от ноября. На шее ошейник — красный, бархатный. От ошейника поводок — красный, кожаный.

На мне красное шерстяное пальто с чёрными лацканами и ботики рыжие. На голове шляпка фетровая с крошечной алой розочкой. *Cherchez la femme** и всё такое. В общем, вид мы с пуделихой имели не только презентабельно-загадочный, но и весьма кинематографичный.

* «Ищите женщину» (*фр.*)

Шли мы с Динкой вброд по донецкой поздней осени, мокрые листья по колено, и разговоры разговаривали.

— Что, Динка, сейчас тебе снова лапы мыть и пузо тоже.

Динка в ответ умным глазом из-под косматой чёлки стреляла: «Да уж, будь добра...»

Подошли к подъезду и увидели папку, он с другой стороны дома шёл нам навстречу — мимо будки сапожника-алкаша, мимо мусорки переполненной. Что хошь сейчас отдала бы, чтобы снова папку таким увидеть — живым, здоровеньким. Ему только сорок пять лет стукнуло тогда, совсем молодым мужчиной был.

— Смотри, Динка, папка идёт, он тебе лапы и помоеет, — хихикнула я.

А Динка хоть и небольшая в холке была, а сильная, сорвалась с поводка и к папке стрелой устремилась. Растявкалаась и уписалась от счастья. Впервые в жизни такое с ней стряслось. Словно я её вообще не выгуливала. Не пуделиха, а слониха в некотором смысле, без подробностей.

— Элефантиха Динка, — пошутил папка, как увидел такие делишки, — здравствуйте! Приятно познакомиться... Я тоже очень рад вас видеть!

В ноябре рано темнеет. Пока мы Динку всю как следует помыли, а не только лапы с пузом, пока обтёрли махровым полотенцем, пока папка ужин приготовил, совсем темно на улице стало. Не так, как в шахте, конечно, а обычной земной чернильной темнотой стемнело. Собрались садиться есть, как погас и искусственный свет. Не в одной нашей отдельно взятой квартире, а во всём квартале. И в соседнем, кажется, тоже. Кинулись, а свечей нет, все пожгли. Тогда в Донецке часто электри-

чество отключали: страна наша окраинная очень бедно жила. Раньше, при Советах, — богато, а в независимую бытность — бедно.

Папка принёс коногонку³ из коридора, включил её, направил луч на потолок. Жёлтый луч упрямого коногонного света. Достал из бара в зале бутылку, содержимое её плеснул в две маленькие рюмочки. Три тарелки поставил, одинаково наложил на них нехитрую еду — макароны, котлету и разрезанный на четыре части солёный невкусный огурец.

— Папа, мы кого-то ждём? Дядь Саша, что ли, придёт?

— Нет, дядя Саша не придёт. Никого не ждём, но так надо... Не бери в голову.

— Папа, мне страшно. У тебя всё в порядке?

— Да, всё нормально. Не бойся, — и широко улыбнулся булатными зубами.

От этой его улыбки мне стало не по себе...

— Папа, для кого третья тарелка и рюмка?!

— Для Шубина.

— Как это понимать? — меня тревога охватила, захотелось выбежать из кухни в тёмный коридор, дойти по стеночке до спальни и спрятаться под одеяло.

— Понимать так, что сейчас мне надо отблагодарить Шубина. Он очень помог нам на смене. Давай просто сядем и поедим, не задавай вопросы, у меня нет ответов. Сегодня нет.

В это мгновенье, прямо на фразе «Сегодня нет», на кухне включился свет. У нас в той давней квартире по улице Челюскинцев такой звонок специфический был, что, когда давали электричество, он тоже оживал и на-

чинал играть мелодию. Впечатление — словно кто-то пришёл и позвонил, чтобы пустили. Я аж вскрикнула от неожиданности.

Динку звонок тоже равнодушной не оставил. Дело в том, что собака наша с младых лет была невероятно музыкальной. Она любую мелодию воспринимала как приглашение к пению — скулежу, если выразаться точно. Звонок играл, Динка подскуливала, на столе стояли три тарелки, одна из которых предназначалась для кого-то невидимого. Того, кто совершенно точно в тот миг находился за нашей дверью в обшарпанном подъезде и ждал, когда же ему двери отворят.

Папка выключил коногонку и отнёс её в коридор на обычное место, рядом с жёлтым телефонным аппаратом. На его корпусе был наш тогдашний номер написан — 92-10-94. Сколько лет уж прошло, а я помню его. Да и разве можно такое забыть? Иногда думаю: а что, если позвонить по нему, вдруг папка трубку снимет и что-то такое скажет, чего раньше никогда мне не говорил?

Та наша квартирка на Челюскинцев была райским местом, только тогда я этого не понимала. Спустя тридцать лет пришло осознание. И сейчас папка тоже в раю. Может, номер рая остался прежним? Чушь, конечно, но хочется верить...

Ужинали молча под тарахтящий телевизор. Я всю порцию съела, только невкусный огурец проигнорировала. Папка свою еду едва поковырял. Третья тарелка осталась стоять нетронутой. А в местных новостях сюжет показали о том, что на папкиной шахте метан взорвался, но никто не пострадал, всех горняков подняли на поверхность живёхонькими. И корреспондентша на фоне проходной в белой каске и красном пальто — Анна Карецкая.

Почему запомнила? Так созвучно Карениной же. Вот она те слова и сказала: «Никто не пострадал».

— Это самые главные слова в мире, — буркнул себе под нос папка.

— Чё?

— Глухих повезли. Никто не пострадал — самые главные слова!

— Как «почти не считается»? — зачем-то ляпнула я.

— Ну да, что-то вроде того, — ответил папка.